

Анастасия Цветаева

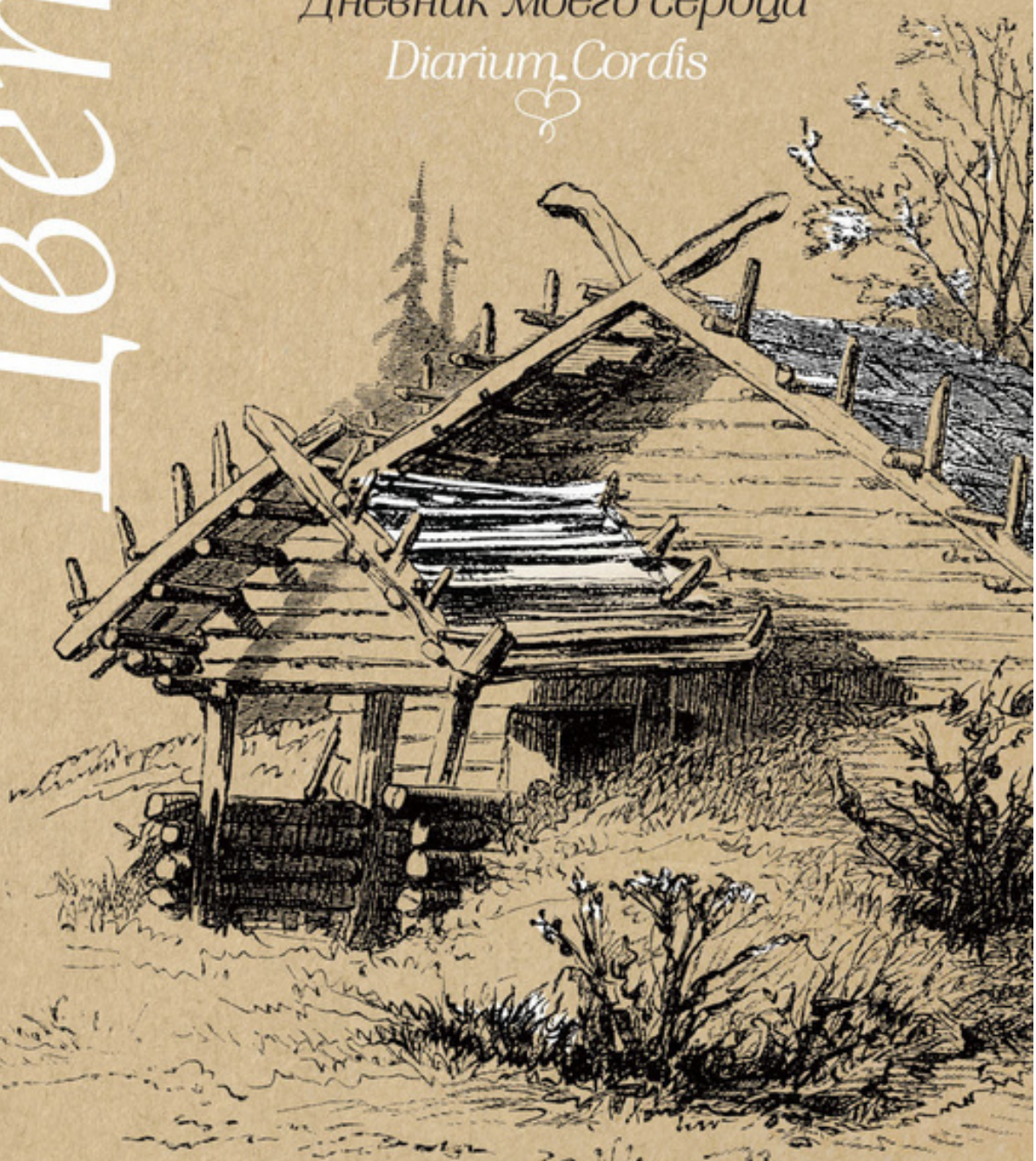
# Моя Сибирь

...за последующую Сибирь... кланяюсь судьбе низко:  
нигде, никогда (разве — в детстве) не была так  
свободна, как там!



Дневник моего сердца

*Diarium Cordis*



Дневник моего сердца. Diarium Cordis

Анастасия Цветаева  
**Моя Сибирь (сборник)**

«Издательство АСТ»

2016



УДК 821.161.1-31  
ББК 84(Рос=Рус)6-44

**Цветаева А. И.**

Моя Сибирь (сборник) / А. И. Цветаева — «Издательство АСТ»,  
2016 — (Дневник моего сердца. *Diarium Cordis*)

ISBN 978-5-17-097596-9

Анастасия Ивановна Цветаева – писательница, младшая сестра Марины Цветаевой, родилась в Москве в семье историка и искусствоведа, профессора, основателя Музея изобразительных искусств Ивана Цветаева. Рано начала писать прозу, первая ее книга «Размышления» вышла в 1915 году. Яркие, драматичные судьбы Марины и Анастасии... Аресты, сталинские лагеря, потеря близких... Однако Анастасия Ивановна не утратила смысла жизни, сохранила ту редкую способность радоваться простым вещам. В ссылке она написала проникновенную автобиографическую повесть «Моя Сибирь», которая была опубликована лишь в 1988 году. Цветаеву освободили только в 1953-м после смерти Сталина, и уже в Переделкино она сумела восстановить часть из уничтоженных в 1937 году произведений. Тогда же она написала книгу «Старость и молодость» и мемуарную книгу «Воспоминания», которая до сих пор пользуется невероятной популярностью у читателей. «Каким языком сердца все это написано, как это дышит почти восстановленным жаром тех дней!» – с восторгом отзывался о мемуарах Цветаевой Борис Пастернак. В книгу вошли три повести – «Моя Сибирь», «Московский звонарь» и «Старость и молодость».

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-097596-9

© Цветаева А. И., 2016

© Издательство АСТ, 2016

## Содержание

Предисловие	6
Анастасия Цветаева	9
Пролог	9
Встреча	10
Знакомство	12
У друзей	16
Дома у звонаря	18
Дни Котика Сараджева	19
Автобиография	23
Горький. Италия	25
Конец ознакомительного фрагмента.	26

# Анастасия Цветаева

## Моя Сибирь

*«Издательство АСТ» выражает благодарность Ольге Трухачевой и литературно-художественному музею Марины и Анастасии Цветаевых (г. Александров Владимирской области) за предоставленные фотографии.*

### Предисловие

Говорят, все люди на земле знакомы через одного. Я никогда не видел и не знал на этом свете Анастасию Цветаеву. Но (странное дело!) я был знаком с человеком, отбывавшим с ней ссылку в Пехтовке. А значит, и знал Анастасию Ивановну не только по ее «Воспоминаниям». Этого человека звали Майя Рудольфовна Петерсон. Она была «профессиональной ссылкой», то есть сидела по политической статье долгое время. Что она могла рассказать о Цветаевой?.. Что Анастасия была замкнутой, что ей помогал Борис Леонидович Пастернак посылками и деньгами, что она благодаря его помощи нуждалась меньше, чем другие политические заключенные...

Нашему поколению «восьмидесятых» с искривленным постмодернизмом позвоночником трудно понять эту цветаевскую генерацию, прошедшую через лагерный Ад, но не растерявшую волю к жизни. Это были люди с прямыми спинами. Жили долго и страдали много. Люди с характером и «породой», напоминавшие дорогих собак, которых лишил хозяин родного дома, и они вынуждены скитаться по другим дворам в поисках пищи и крова. Многие из них были больны, но даже в нищете они не напоминали дворняжек... Странное дело эта порода!..

Мы недооцениваем отрицательной селекции русской жизни, когда из худших выбираются наихудшие, и будущее принадлежит им... Сколько лет она продолжается, эта отрицательная селекция? Век, два?.. Под нее затачивается государство, под нее строится культурная и социально-политическая жизнь. Люди с прямыми спинами вынуждены изображать горбатых, лишь бы их не пустили в компост... Бунин в «Окаянных днях» писал, что за неделю октябрьского переворота физиономия петроградских улиц кардинально изменилась. Появилась другая антропология, которая на глазах выдавливала прежнюю... Теперь это называется «социальным лифтом». Мы знаем историю про то, как дворняжка Шарик превратилась в гражданина Шарикова. Но есть и другой сюжет – как профессор Преображенский захотел казаться Шариковым и в конце концов стал им. Второй сюжет более типичен для нашей истории.

«Новой антропологии» невозможно понять психический склад людей с «прямыми спинами», например, их свободу от власти денег. Сейчас говорят, что такая свобода порочна, что в ней виновата советская власть с ее коммунальным приоритетом. Это, конечно же, вранье. Анастасия Цветаева – дворянка и родилась на исходе XIX века, когда Россия обещала стать «житницей Европы», а земское самоуправление приучило образованный класс к ответственности перед собой и перед народом. Историки говорили мне: чтобы человек чувствовал себя свободным от меркантильных вопросов, нужно четыре или пять поколений людей, привыкших к деньгам... Для которых деньги не являются чудом. Следовательно, сегодняшней России нужно еще лет тридцать-сорок для понимания того, что «бабло» не всегда побеждает зло. Есть ли у нас это время?..

О семье Цветаевых написано много, и трудно конкурировать со сказанным прежде. Собственно, ничего читать и не надо. Достаточно зайти в изобразительный музей имени Пушкина,

основанный отцом Марины и Анастасии, чтобы понять масштаб этой семьи. Масштаб тех, кого истребили. Мы считаем, что сильный побеждает слабого. К сожалению, это еще одна банальная неточность. Слабый побеждает (съедает) сильного. Съедает всегда и везде. Вот это уже теплее!.. Об антропологической катастрофе по имени «холокост» знает весь мир. Об антропологической катастрофе по имени «Россия в XX веке» знает лишь тот, кто сохранил в себе остатки памяти. Таких людей вокруг все меньше.

Наверное, трудно, почти невозможно расти в тени гениальной сестры. Но Анастасия Ивановна выбралась из этой тени, наверное, путем потерь. Достоевский со своим культом страдания это бы понял, но только последний людоед посоветует подобный путь в качестве единственного пути... Большинство сочинений Анастасии погибло в архивах Лубянки (где они, эти архивы?..) Но Анастасия Ивановна нашла в себе силы, чтобы после политической реабилитации в 50-х годах прошлого века восстановить их и написать новые. Нужно вообще быть недюжинными юмористами, чтобы обвинять человека в организации «ордена розенкрейцеров» – такое обвинение сшили Анастасии в НКВД. Но мы забываем, что самые смешные шутки исходят от людей, начисто лишенных чувства юмора.

Ловлю себя на мысли, что работаю в несвойственном жанре – пою осанну тому, кого знал «через одного». Но можно сменить пластинку. Можно сказать следующее: о чем вы, господа?.. Что бы вы делали со своими «прямыми спинами», когда бы наступили в нашу эпоху, какими бы щетками очищались?.. Как бы оценили будущее страны, которое есть прошлое? Как бы отнеслись к масс-культу, к песенке «цыпленок жареный, цыпленок пареный» на новый лад, который вытеснил все остальное?.. Это называется теперь «русским шансоном». Он казался вам в свое время смешным извращением, этот «цыпленок». Вы и не подозревали, что настанет время, когда тысячи «поэтов» и «композиторов» будут работать только в жанре «пареного цыпленка». Что они, эти люди, будут специально отбираться. Что их продвижению будут способствовать целые государственные структуры. Засуньте свой хороший вкус в одно место. Динозавры и вымерли оттого, что не чувствовали в «цыпленке» себе равного. В конце концов, ведь не сажают, не расстреливают... а только грузят своим «цыпленком» мозги. Но почему мы думаем, что одно свободно от другого? Ведь история России в XX веке говорит обратное – как только «цыпленок» вышел на подиум, так и начали сажать в больших масштабах. Этому находится объяснение. Культура есть артикуляция связей человека и мира. С этой точки зрения репрессия – предельная примитивизация социальных связей. Как и «цыпленок», который торжествует, когда более сложные смыслы из культуры изгнаны. Если он триумфально шествует, этот «цыпленок», то и примитив репрессии вполне подготовлен. История никого ничему не учит. И русского человека – прежде всего.

Публикуемые здесь мемуары Анастасии Цветаевой почти свободны от первого лица. Точнее, «я» в них носит служебный характер, помогающий раскрыть реалии постсоветской жизни. Сказать, что через них дышит время, это значит сказать очень мало.

В истории ничего нельзя изменить... Правда ли это? Кажется, свяжи свою жизнь Марина с другим мужем, и горькая чаша пройдет мимо. Как и у Анастасии, к которой обвинение в антисоветской деятельности пришло также со стороны ее суженого. Что бы сказала на это современная математика и физика, предельно усложнившие представления об естественных процессах? Поэт от современной физики мог бы сказать следующее: спиралей причинно-следственных связей великое множество. Они составляют спирали времени, которых столько же, сколько и путей человека из любой точки пространства. Любое наше единичное движение в корне меняет причинно-следственную цепочку. Ангелы могут двигаться по любой из этих спиралей и видят их совокупность. Беда человека в том, что он может двигаться только по одной из них.

Впрочем, у двуногих есть качество, в корне отличающее их от большинства духовных существ. Это качество – творчество. Создание своего мира «из ничего». В этом смысле чело-

век богоподобен. И Анастасия Ивановна Цветаева со своими мемуарами, конечно же, часть богоподобия...

*Юрий Арабов*



## Анастасия Цветаева

### Сказ о звонаре московском

#### Пролог

В тихий вечер зимний в маленьком доме у Пречистенских ворот мы сидели за чаем в семье профессора Алексея Ивановича Алексеева в уютной столовой окнами на храм Христа Спасителя<sup>1</sup>.

Алексея Ивановича я знала с детства. Ученик моего отца, тогда доцент, он бывал в нашем доме в Трехпрудном, помнил меня ребенком, и теперь, когда я, овдовев, с сыном-подростком билась за жизнь, он помогал мне с приработком. Служа в библиотеке Музея изобразительных искусств (при отце моем, его основателе, – изящных искусств), я брала у Алексеева пачки библиотечных каталожных карточек, копировала их (чаще ночами). Алексей Иванович где-то заведовал библиотечным отделом.

Принеся работу, я засиделась за чаем – сын в школе в вечернюю смену, могу не спешить домой, – слушая рассказ Юлии Алексеевны, Юлечки, о знакомом их, обещавшем прийти.

– Вы не слышали известного дирижера Сараджева? Константин Соломонович – Котик – его сын от первого брака. Звонарь. Музыканты считают его гением. Котик Сараджев! Анастасия Ивановна, он может сейчас прийти, чтобы вы знали. А то вы не поймете. Ведь он особенный!

Взгляд томных больших глаз Юлечки полыхнул в спешку рассказа.

– Он с двух сторон из необыкновенных семей; по отцу – я сказала: талант по наследству. Он же с 7 лет – композитор! А мать – дочь Нила Федоровича Филатова, по детским болезням профессор, его имени – московская детская клиника. Мать давно умерла, он еще маленький был. Она, больная брюшным тифом, услышала крик сына. Встала – и пошла. За стенки держалась, в жару. Но не дошла, упала. Потеряла сознание. Вскоре она умерла. Он похож на нее, хотя и на отца похож, тоже что-то восточное. Вы сами увидите! Он заикается. Иногда – почти чисто говорит, а иногда – трудно! Но самое главное в нем – это гиперестезия слуха, – спешила рассказчица. – Он слышит в октаве совершенно отчетливо – 1701 звук. Он нам рисовал схему. Я ее найду, покажу вам! О своих «гармонизациях» рояльных (он их так зовет) он небрежно говорит. Он только колокола признает, Котик! Мы на днях собираемся его слушать – пойдемте с нами?

– А он как: аккомпанирует при церковной службе?

– Ну да, и он сердится, что в другие часы – нельзя... Он ведь чудной. Котик... Не понимает! В субботу пойдем, хорошо? А когда в каком-нибудь колоколе ему слышится, как он говорит, звук слишком прекрасный, он выпускает из рук все веревки колокольные, и... (слово «падает» пропало в звонке из передней – длинном, настойчивом; нет, не спешном, не нервном – настоящем, как бы праздничном).

---

<sup>1</sup> Теперь место бассейна у Кропоткинских ворот.

## Встреча

Радостно, как-то торжественно – зная ли, что ждут? – выходил из передней высокий, темноволосый, в аккуратной, темной, плотной рубашке, подпоясанный ремнем: одергивая полы (как это делают мальчики от застенчивости, тут – не так: не застенчиво, а – в некой веселой готовности – предстать). Карие огромные, по-восточному длинного разреза глаза сияли блеском темным и детским по силе открытости. Голос запинаясь:

– Я оп-поздал н-нем-м... – радостно прорвавшись, – много! Ппп-рости-те... – Кланялся, пожимая руки, смеялся.

(Пожалуй, красив! Волосы волнистые, длиннее положенного. Царь Федор Иоаннович, театральный какой-то!)

– Мой источник меня задержал, – медленно, но словоохотливо пояснял нам вошедший, с веселой улыбкой сопровождая слова, – ему мои сказали – где-то я там «болтаюсь», поздно домой прихожу. Да! – Он вдруг оживился, очень.

– Я вч-ч... – слово не удавалось ему, – вче-ра у Глиэра был! – Он обвел всех нас глазами, сияющими. – И мне выд-дадут разрешение от Наркомпроса, – он развел руками широко и радостно, – ск-олько н-на-до мне к-к-колоколов, в каких н-надо тональностях! Дооборудуют мне мою звонницу! Пожалуйста, – он провел рукой по воздуху, как бы перечисляя нас, – п-приходите вы тоже!

Юлечка усаживала гостя за стол, наливала чай, придвигала хлеб, печенье, варенье.

– Кушайте, Котик!

Котик ел с большим аппетитом, продолжая рассказывать свои победы и приключения домашние.

Он ел весело, увлеченно, по-детски. Было удивительно наблюдать эту смесь горечи о непонятости и радости о победах, создававшую вокруг этого человека непривычную атмосферу, – ей трудно было подобрать эпитет.

Я рассматривала Котика со сложным чувством восхищения и жалости, смесью впечатлений, им даваемых. Как бы в зеркальном отражении той двойственности, в которой шагнул откуда-то в эту комнату к нам пришедший.

Но он вдруг остановил свой рассказ. Порывисто привстав, он трогал пальцем сахарницу.

– Удивительно! – вскричал он пораженно, как будто увидев друга. – Тип-пичная сахарница в стиле «До 112 бемолей!». – И он погладил ее, как гладят кота.

– Да! – спохватился он, извиняясь за то, что отвлекся, – так я уж-же от-тобрал один маленький колокол – один пуд и четыре фунта. Это на весах, старых, – вроде бы застеснялся он, – а другой – ну, этот побольше будет! – Он рассмеялся. – Еще не вешал его н-на весах, ну, думаю, пудов пять будет... Вы не представляете себе, какой звук! Эт-то, как говорится, божественный! В груди – холодок даже! Я – даже боюсь... такой звук! Ну, а еще – уже неподъемный! Только несколько человек его смогут поднять! Ре-ди-ез!

Он отрезал себе серого хлеба и, намазывая на него слой варенья:

– Какой хлеб вкусный! Он свежий, да? Свежий! Я, впрочем, не обедал сегодня, не было времени! Когда человек не ел долго – так все ему вкусно кажется, да? Я заметил...

Мать что-то сказала Юлечке, и та вышла. Но уже забыл Котик, что не обедал, плывя по волнам рассказа о наркомпросовских колоколах, потому что удивился, обрадовался вдруг, увидев глубокую тарелку супа в руках Юлечки. Она ставила ее на стол, придвигая ее, неслась еще хлеба.

Котик возликовал, как дитя.

– Эт-то очень хороший суп, я вижу! – объявил он (должно быть стыдясь, что он один из присутствующих будет есть такое!). И, глубоко погрузив ложку в подправленное растительным

маслом и луком кушанье, стал молча наслаждаться едой. Взгляд его был опущен на тарелку – длинные, трепетно вздрагивающие веки; как бы выросший в наклоне нос и безусый рот – все это сейчас было жалобно. За минуту, при полыхавшем огне глаз, величавое, победное, красивое сменилось другим – незащищенностью...

Но мне было пора идти. Я встала. Он не заметил меня, ел. Юлечка вышла за мною в переднюю.

– Необыкновенный, да? – спросила она, прикрыв дверь. – Уникальный! Вы знаете, – она остановилась перед предстоящей темой, но, преодолевая себя, как девушка современная, – он же другой, чем все: у него есть пассия. – Она легко употребила уже отжившее слово, видно в семье употребляемое. – Она – балерина. Но это все – платонически! «Ми-бемоль» (сколько бемолей – забыла!). Он ей пишет письма, бывает у них. Понимает ли она в его колоколах – не знаю, но он ей посвящает свои «гармонизации» колокольные. Вы услышите, это как целый концерт! Музыка – удивительная!

Серьезное, мужественное, привлекательное лицо Юлечки поражаало волевым началом. Филологию выбравшая, путь отца, она обещала многое в будущем.

– Довольно потрясающее впечатление, – говорила я, одеваясь, не найдя иного слова. – Мне он знаете кого напомнил? Не знаете? Князя Мышкина!

– Правда? Ну, это вы... нет! Вы не думайте, он очень насмешливый; про сестер – «преподобные»; он – нелегкий дома, я думаю, самозащита! Озорство иногда даже! В Мышкине – не было! Отца, правда, очень любит!

– Сколько лет ему, Котику?

– Двадцать семь! Жаль, что уходите! Обледенелые ступеньки, мороз, ветер. Я иду, спрятав нос в воротник. Сын, наверное, из школы вернулся, надо идти скорее. Позади меня – целый мир, волшебный и непонятный, непостижимый, но до жалобности – реальный. До какого-то стеснения в груди.

## Знакомство

Котик оказался ручным. Он легко отозвался на приглашение в следующую же нашу встречу у Алексеевых. Он придет за мной в субботу перед всенощной.

Сегодня его не будет в их доме, и мне грустно. Вошел в душу. Но, сдав пачку карточек, я задержалась в беседе с Юлечкой. Я ее очень люблю. И сейчас я впервые увидела того, о ком только знала: дальнего родственника Алексея Ивановича, и я в волнении слежу за размахом маятника жизни. Иван Алексеевич! Кто не знает его на его родине! Зачинатель письменности одной из поволжских народностей, подобный герою народному, проложивший след – на века. Но десятилетия прошли – он пережил себя, он здесь живет на покое, потеряв память, забыв величие свое и свой труд. Он прошел, ведомый старушкой женой, через комнату в ванную, молчаливый, седой остов прошлого, грузный, отсутствующий... и я гляжу ему вслед.

О это чувство, которым содрогается молодость, глядя на зрелище старости, не оно ли незримым серебряным холодком трепещет по волосам юных, подготавливая, будя прислушивающие к тому, что должно прийти? словно над бездной наклонясь, глядела я ему вслед.

«Но, – скажут мне, – передержка! Разве все доживают до недолжного возраста старости, до второго младенчества?»

«Да, да, – радостно впадаю я в возражение, – разве не было у создателя письменности поволжской седых лет творчества? Когда несогбенные еще плечи были могучи и широки? (Когда старость еще кралась к ним...) А наш Павлов, для моциона, весело, в 80, в городки игравший? Толстой, Лев, за год до смерти скакавший верхом? Да и я, наконец, тоже в 80 пишущая эти строки? Мечтающая на беговых, на норвежских коньках выйти на лед? Бегающая – не для одного моциона – из задора! На глазах молодежи, дробным бегом, не отставая от них, по эскалаторам? (Да, но – с чуть захолонувшим сердцем... И уже увлекающаяся лечебной гимнастикой, сыроедением (длит силы!). Проверяющая уже, изредка, цифры сахара и протромбина в крови, чтобы не оступиться нечаянно в притаившуюся за спиной смерть...)»

– Значит, в субботу за вами заходит Котик? – сказала, выйдя за мной в переднюю, Юлечка. – Только будьте готовы, к вечернему звону нельзя опаздывать, да и он будет уже вне себя от страха, что опоздаем! Ему знаете что труднее всего? Вот именно эта точность, – он бы засел на колокольню за сколько хотите часов, он уже пробовал, на него там сердились; обещает только приготовить веревки, развести их все по порядку, чтобы качать, как надо ему, все звуки, – и вдруг тронет их, и еще до начала службы раздастся звон, легкий... Не терпится!

Мы улыбались обе. От умиления, от предвкушения? От близости к таинственному для нас (над чем тоже наклонялись – в непознаваемое...).

– Вот Глиэр и хочет проверить его композиторство, – сказала она, – Котик ведь спорит с теми, кто уже после детства пытался его учить! Чему, мол, могут они научить меня, если они не слышат всех звуков? Один бемоль? Один диез? Они же глухие... Я бы мог их учить, но глухого не выучишь. И смеется, и потирает руки, – чешутся у него – звонить!

Часа за полтора до назначенного времени меня вызвали к телефону.

– В-вы гот-товы? – спросил голос Котика. – Я к в-вам иду!

Я кончила укутывать в «пастерначий» (как звался подарок Б. Л. Пастернака) сундучок, обитый изнутри мягким, кастрюлю с супом и – поменьше – с только что закипевшей кашей – доварится! – для сына Андрея – из школы придет без меня. И вот уже звонок, и гость входит в мою, заставленную старой мебелью, комнату.

– Я пришел 3-3-заранее! – весело сообщил Котик. – Чтобы б-была уверенность, что не опозда-ем!

Облистав взглядом стены, увешанные картинами и портретами, он пошел ходить вдоль них, сколько позволяла теснота.

– У в-вас интересно, – сказал он радостно. – Я люблю – так... Я н-не люблю голые комнаты. Т-тогда мне кажется, я – в тюрьме! Или – в больнице!

Он остановился перед большой фотографией моей сестры Марины.

– Оч-чень четкое из-изображение ми семнадцать бемолей! – воскликнул он поглощенно. – А эт-то – си двадцать три диеза, немного стерто!

Это была старая карточка Андрюшиного отца.

– И снова ми семнадцать бемолей, – перешел он взглядом к детской фотографии Марины и, далее, к мелкой группе, где на фоне итальянского сада в центре группы детей стояла 10-летняя сестра, моя Маруся в матроске, похожая на мальчика, – тут-т у вас везде от-чего-то ми семнадцать бемолей минор. – Его, видно, не интересовало, что он видит того же человека в различных возрастах, это – не доходило. – И – оп-пять! – уже совсем восхищенно вскричал он, взглянув на стоящую на письменном секретере рамку, где сестра моя, уже лет 30, была снята рядом с мужем и дочкой. – Это уд-дивительно! Основное звучание к-комнаты!

– А какая моя тональность? – спросила я улыбаясь.

– Ми шестнадцать диезов. Мажор! – тотчас (чуть изумленно, что спрашивают об очевидности) отозвался Котик. – И даже немного обиженно: – Это же – яс-сно...

– Это не только вам ясно. Котик? – пошутила я педагогически.

Он согласился сейчас же и, став серьезным:

– Ну да, ну да! От-того – не понимают! Разумеется... И в-вот я не понимаю, как можно жить и не слышать тон-нальности окружающих... В таком – м-мол-чанье! Наверное, эт-то – трудно для человека! Не слышать! Уд-дивительно! Я бы – не мог! Н-но – который час? Скажите, пожалуйста? Наверное, пора!

Мы выходили в голубоватые сумерки. Мерзляковский переулок был тих. Вдруг Котик остановился, прислушиваясь.

– Слыш-шите? – спросил он потрясенным голосом, и лицо его стало торжественно. – Это колокол Вишняк-ковский звонит! – проговорил он счастливо, самозабвенно. – Эт-то хорошо, что далеко! Я од-дин раз н-не смог его вынести – упал! Эт-то было – давно.

Воздух был совершенно тих, никакого звона не слышалось, без слов, одним согласным с ним волнением, я ощутила: не «ему кажется», а – «мы не слышим...»

Существование огромного мира звуков, нам недоступного, прошло по нас трепетом о себе заявившей реальности. Вдруг открывшейся.

Большой двор церковный в одном из замоскворецких переулков медленно наполнялся народом. Если бы взглянуть на него сверху – обозначилось бы две струи идущих: одна направлялась в храм, другая растекалась по дальнему углу двора, над которым возвышалась колокольня. И в то время как первая струя входила в двери – безмолвно, вторая наполняла двор – жужжанием разговоров. Переговаривались, то и дело взглядывая вверх, где виднелся, по временам исчезая, силуэт человека в темном и в шапке. Он что-то делал там, наклоняясь и выпрямляясь.

– Готовится! – сказала мне Юлечка.

Среди толпы, собиравшейся, я заметила группу людей, чем-то от других отличавшихся: они держались вместе, оживленно разговаривая, было даже похоже на спор. В их внешности было что-то особенное – некая холеность, стать; меховые их шапки казались из лучшего меха. У двоих волосы выдавались из-под меха – длинные, почти до плеч. И красота или оригинальность черт.

– Музыканты! – шепнула мне Юлечка. – Завсегдатаи, когда он играет!

– Может быть, и Глиэр тут?

– Может быть...

Низкая под высоким очертаньем церкви дверь, впуская народ, то и дело открывала свою освещенность, согретую теплым цветом, желтоватым. Мороз пощипывал. Люди похлопывали

нога о ногу. Ожиданье становилось томительным. И все-таки неожиданно оно ворвалось, непохожее на тишину... Словно небо рухнуло! Грозовой удар! Гул – и второй удар. Мерно, один за другим рушится музыкальный гром, и гул идет от него... И вдруг – заголосило, залилось птичьим щебетом, залихватским пением неведомо больших птиц, праздником колокольного ликования! Перекликанье звуков светлых, сияющих на фоне гуда и гула! Перемежающиеся мелодии, спорящие, уступающие голоса... Оглушительно неожиданные сочетания, невысказанные в руках одного человека! Колокольный оркестр!..

Это было половодье, хлынувшее, сломав ледоход, потоками заливающее окрестность...

Подняв головы, смотрели стоявшие на того, кто играл вверху, запрокинувшись, – он летел бы, если б не держали его привязи языков колокольных, которые он держал в самозабвенном движении, как бы обняв распростертыми руками всю колокольную, увешанную множеством колоколов. Они, гигантские птицы, выпускали медные, гулкие звоны, золотистые, серебряные крики, бившиеся о синее серебро ласточкиных голосов, наполнивших ночь небывалым костром мелодий. Вырываясь из гущ звуков, они загорались отдельными созвучиями, взлетающими птичьими стаями, звуки – все выше и выше, наполняли небо, переполняли его – но уже бежал по лесенке псаломщик, что «хватит! Больше не надо звонить!». А звонарь, должно быть, «зашелся», не слушает! Заканчивает свою «гармонизацию»...

– Д-да! – потерянно сказал высокий длиннородый старик. – Много я звонарей на веку моем слышал, но этот...

И не хватило слов! Люди – жужжали.

– У него совершенно органый звук! – говорил кто-то. – Я ничего подобного...

– Да нет, не орган, понимаете – это оркестр какой-то!

– Гений, конечно!

– Так ему же Наркомпрос колоколов навывдал! – пробовал «объяснить» какой-то голос попроще.

– Ну и что же? Наркомпрос, что ли, играет? Нам с тобой хоть со всего Союза колокола привези...

– Много звонарей на веку моем слышал, но этот...

Темные – уж не глаза, а очи Юлечкины из-под пухового платка сверкали, – похоже, что материнской гордостью.

– Не напрасно я вас сюда привела?

Слова ее были будто обыкновенны, но горенье лица напоминало картины Нестерова, Сурикова.

– Знаете, кого вы сейчас напоминаете в этом платке, во дворе этом? – сказала я ей. – Женщин из Мельникова-Печерского «В лесах», «На горах» – читали?

Читала ли? Ужель не читала? Вся душа ее русская одержимо светилась в ее восхищенном лице. Народ расходился. Мы ждали виновника торжества.

Он вышел к нам радостный.

Взгляд, которым одарила его Юлечка, был от земли оторван. Но, увидев его красные уши, она вернулась к реальности.

– Пойдемте к нам, – сказала она просто, – мама сейчас нас чаем напоит! И лекарство вам даст, вы же еще простужены.

На другой день Котик сказал мне:

– Я был у Глиэра. Вчера. Он папин друг. Да! – вдруг он заволновался. – Он хо-хочет учить меня по всем правилам к-к-композиции! Это же совсем мне не нужно! На фортепиано! Что можно в-выразить на этой несчастной темперированной д-дуре с ее несчастными линейками? М-мои к-колок-кольные гармонизации – разве он их не слышал? К-когда ум-мерла моя



бабушка, я упал в припадке, но когда я потом встал, я сразу сыграл новую гармонизацию до 119 диезов, и я тут же ее записал, но запись... всегда н-не то получается, он-ни эт-то не понимают!

Он сказал эти слова с такой трудновыразимой горечью, что лицо его помогло себе – гримасой, вмиг состарившей его.

– Я это все знал, когда сочинял мои детские соч-чинения, я вам их покажу, когда в-вы ко мне придете. – Но ведь я тогда еще не встретился с к-колоколами! Препо-добные! Они же не понимают, что такое к-колокола! Н-но я обещал вам показать рисунок! Мои 1701 звук! – оживился он. И он попросил лист бумаги.

Пока я в кухне готовила нам ужин, разогревала чечевичную кашу и клюквенный кисель, всегда напоминавший мне детство, Котик, сев на диване в моей комнате, что-то чертил и надписывал. Но я настояла, чтобы он сначала поел. Он согласился охотно. От еды лицо его порозовело, он сидел такой красивый, привлекательный, нарядный, здоровый, что мне в голову не приходило вспоминать его небесную музыку...

И вот этот таинственный мир! Он нарисовал четко чертеж правильными линиями и надписал круглым детским почерком.

– Это же совсем просто! – сказал Котик, передавая мне лист. – 243 з-звучания в каждой ноте (центральная и в обе стороны от нее по 121 бемоль и 121 диез), если помножить на 7 нот октавы – получается 1701. Эт-то же ребенок поймет! Почему же он-ни не понимают? Он-ни думают, я ф-фантазирую! Потому, что он-ни – не слышат! Вы понимаете? Они не слышат, а получается, что я вин-новат!

Ему стало смешно. Он рассмеялся залихватно, и можно бы назвать его смех ребячьим – если бы на дне его не звучало горечи и даже, в пределе, отчаяния. Он как-то поперхнулся им и, переставая смеяться:

– В-вот и вся моя история! Это совсем просто! Но на рояле я же не могу сыграть эти 243 звука, когда н-на этих несчастных ч-черных – всего один диез и один несчастный бемоль... Я слышу все звуки, которых они не слышат!.. Нет, нет, не так! – вдруг вскричал он просветленным зажегшимся голосом. – Они т-тоже слышат! То есть нет, они звучания не слышат, – закричал он, – но т-то впечатление, которое получается от колок-кольных гармонизаций, они его отличают, потому они и ходят слушать м-мою игру в церкви святого Марона... – Он вдруг увял. Чего-то ему не удалось договорить, ему понятного. – Эт-тот Глиэр, он... – Он встал. – М-мне пора идти...

– Котик! – сказала я очень просительно, – но вы все-таки можете сыграть – на рояле? Ту рояльную гармонизацию ми-бемоль минор. Вашей «Мибемоль минор» посвященную. Вы же играли где-то, и люди же восхищались... Мы с вами пойдем к моим друзьям – там бабушка замечательная, писательница, а дочка красавица, концертмейстер. Нет, это не важно! – поспешила я, видя, как черты Котика исказились. – Я к тому, что рояль у нее, отличный звук! И еще там – маленький мальчик, трех лет, такой ребенок... Даже если вы детей не любите, то этого вы...

– Я д-детей – люблю, – сказал Котик, – дети л-лучше все понимают, они просто – понимают! Хорошо, я пойду с вами и поиграю, но вот если бы у них были к-колокола...

## У друзей

Собираясь в тот вечер с Котиком к Ольге Павловне Руновой-Мещерской, автору романа о 1905 году «У корня» и других книг, я взяла с собой черновик моего до того незадолго написанного письма Горькому. Пока Нэй, подруга моя, концертмейстер, знакомилась с Котиком, я в соседней комнате прочла ее матери мой черновик. Правильные черты до старости красивого лица ее вспыхнули улыбкой, и было в карих глазах – веселье.

– Вы мне, Ася, принесли ваше письмо к Алексею Максимовичу, – сказала она с ласковой горделивостью, – а я вам прочту его письмо ко мне!

В жар моего нетерпения мне протянут большой лист, мелко исписанный прямым кудреватым почерком:

«Дорогая Ольга Павловна!

Сердечное спасибо за сказку и письмо, письмо у Вас тоже вроде сказки. Весьма обрадовался также мимолетным, но глубоко верным замечаниям Вашим о том, как творятся в России легенды; очень думаю над этим прекрасным и необходимым для нас – для всех нас процессом. Писал об этом А. Вельскому... Прислал он мне книжку свою, а я, прочитав и многое в ней подчеркнув, возвратил ему. Ответа не имею, рассердился на меня человек. Напрасно. Никогда никого не учил я, на свой лад не перестраивал, судьей себя не считаю, а только свидетелем».

– Хорошо пишет! – сказал я. – Если он мне ответит...

– Ответит! – убежденно ответила Ольга Павловна. – Непременно ответит! Идемте в столовую, нас уже заждались!

Нас ждали Котик и Нэй в высокой просторной комнате большого дома окнами на Сретенский бульвар, за длинным столом, богато – по тем временам – накрытым. Уже вкусно и обильно накормлен странствующий звонарь, и словоохотливо он рассказывает:

– В одном доме встретился я с... с... с... (не даются ему эти встречающиеся!) с-словом, они – актеры! И он-ни уговорили м-меня играть. Нет, не думайте, не по моей части, хотя и на к-колоколах там тоже... по их части, играть в театре Федора Иоанновича (любезно поясняя нам), был такой ц-царь. Он т-там у н-них на колоколах звонит, так я понял! И я буду этот царь в царской одежде – и должен буду звонить на к-колоколах! Что-то выдумывают? К-какие там у них к-колокола? Эт-то в Камергерском п-переулке, называется театр МХАТ.

Серые, темные под тяжелыми веками глаза Нэй смотрят на гостя с улыбкой ласкающего внимания. От сильной близорукости она еле различает лицо гостя, но она ощущает присутствие необычного.

Большеглазый – глаза, как у матери, серые – мальчик трехлетний не сводит с гостя взгляда.

– И там была т-так-кая неприятная дама! Он-на вообразила, что хорошо играет... А я возьми и спроси ее: «А можно мне вас понюхать? Простите, я ошибся! Я хотел сказать «послушать»!» Она на м-меня оч-чень обиделась!

Он залился смехом.

Мне стало неприятно. Ведь они видят его в первый раз – и после моих рассказов о нем... Поймут ли, что он и озорник немного? Могут ведь подумать – нахал. Но Котик уже бродит по комнате – знакомится с новым местом. Остановился у рояля, поднял крышку. Сейчас начнет? Но он настойчиво ударял одну и ту же ноту.

В комнату входила пожилая худенькая женщина – жена художника Альтмана. Нота все длилась нетерпеливо. Нашел изъясн? Что-то странное. Я подошла. Он держал палец на ля.

– Почему же она н-не слышит? Я же з-зову ее, – недоуменно спросил Котик, – она же – ля, чистая центральная нота!

Поняв, я уже объясняла вошедшей:

– Фаина Юрьевна, ваша тональность – «а»! И Константин Константинович...

Но мальчику Туле пора спать, а он хочет слушать! Нельзя, игра возбудит его, не успеет. Уговаривают. Но маленький тиран не сдастся: хорошо, он согласен «завестись» к соседке напротив по коридору, там лечь, но чтобы ему дали острого винегрета! Дадут? Тогда он пойдет к соседке. Следивший за этой сценой Котик разражается веселым смехом.

Круглые, как у кота, огромные серые глаза под детской каштановой челкой смотрят победно.

– Маринаду дадут! А есье – да, да – шоколаду!

Обещан и шоколад. Бабушка, старая революционерка, когда-то красавица, покрасивее Екатерины Второй (некогда с ней сравнивали...), уводит внука.

Котик садится к роялю.

Но первые звуки рояльные кладут было разбушевавшемуся счастью предел: бабушка, погрозив пальцем, обещав шоколадку, уходит.

Медленно, упоенно, как-то все снизу вверх идут звуки коленопреклонно перед недостижимой высотой ми-бемоль? И все флейтное существо рояля, все скрипичное, все органное его звучание сплетается в новую оркестровку, вызывая колокольные голоса. Они мечутся о пределы рояльные, рождая небывалое в слухе.

Я смотрела на друзей моих: Ольга Павловна, Нэй, ее пожилая гостья – Фаина Юрьевна, «а» – жена художника Альтмана, – на лицах всех их, столь разных, было одно выражение: поглощенность неожиданным, неповторимым! Мы присутствовали при Чуде. Теперь, почти полвека спустя, когда никто уже, может быть, не помнит ни колоколов Котика, ни игры звонаря на рояле, – когда я, может быть, последняя, кто об этом расскажет, – какая на мне ответственность – найти слова! Но я, в смятении воспоминания, не нахожу их. Перечла описание его звона. Как слабо! Не воссоздала совершенно... То был вечер колокольного рояля! Не «подражанье на рояле колоколам», этого, может быть, и немало – в записях музыкальных, это совсем другое: с помощью этих презираемых звонарем белых и черных клавиш, служащих одному диэзу, одному бемолю, – он нашел способ (не мог не найти он, тосковавший по звучанию колокольному с утра до ночи) создать колокольность в клавишах!

Сонного, как ветка, утонувшая в пруду сна, несла Нэй на руках великолепно спящего сына, раскидавшего, несмотря на малую величину свою, богатырские ноги и руки; спящая голова со спутанной каштановой челкой с рук матери свешивалась, как волшебный плод. И в трогательном покое черт невинности ночи растопила и залила ребяческое лукавство дня. А смолкшие колокола звучали в ночной комнате.

## Дома у звонаря

Ни на что не похоже – иметь квартиру в здании консерватории – что-то вроде полузабытого сна. Полутемные переходы, высота недомашняя, печальность источников света, тени; лестницы и гулкость органная – вот тут жил звонарь. Правда, тут жили и арфистки-сестры и арфы сестер, от звуков которых он уходил из дому, как от всех темперированных инструментов. И жил тут отец всего этого, их Источник. Я пишу это слово с большой буквы – не от себя, а невольно передавая тональность этого слова в устах сына, – в тональности звучало уважение, заглавность. Котик не рассказывал мне об отце, но позднее я узнала, что он нежно любил отца с самых дней детства, когда тот еще не был назван источником, а был просто папа, с дней, когда жива была мать, когда сын был кудряв и младенчествен, а отец молод и весел... Вот этими вещами невещественными – прошлым, в вечность ушедшей матерью, незримым еще будущим, как в новогодних зеркалах, отраженных друг в друге, веяло на лестницах консерватории, которыми мы шли. Слышалось все то, как стихший звон арфы, как неслышный звук Вишнякове ко го колокола, и вещественна была тут эта невещественность семейной трагедии... И, как в старых домах, мышами пахло в тот вечер в пути нашем, и шли мы будто не Москвой... Петербургом гоголевских времен.

И вот наконец комната. Дана отцу его, как профессору консерватории, для занятий. (Квартира их, сказал Котик, в ГИТИСе, на Кисловке.) Я не помню тут мебели, хоть она, конечно, была. Явственней были двери, и потолок, и окна в неведомость, и был час вечерний, час отсутствий, где-то проводимого отдыха, а может быть, чьих-то концертов... Вынув откуда-то из-под спуда ему одному ведомых тайников, Котик протягивает мне альбом. Я раскрываю – и пораженность до дна души; лет десяти сидит у рояля мальчик; темные волнистые волосы завладели лбом и щеками, заглядывают в глаза мальчиковы и мои, а из-под них глаза свободно смотрят в душу мою. В глазах – отрешенность, мечтательность. Несмотря на нарядный костюм, матросский, в позе, в существе ребенка – печаль. С дней, когда, заслыша крик сына малюточного, кралась в жару мать – рука по стене – и, не дойдя, упала, и вскоре похитила ее смерть.

– Это я, – эт-ту фотографию очень моя бабушка любила – тут, она говорила, я на м-маму похож.

Он перевернул страницу. Дальше шли листы нот.

– Тут мои детские сочинения, я тогда учился на рояле. Но мне оч-чень м-мешал мой учитель, мне сочинять хотелось, а он хотел, чтобы я играл гаммы... Но после уроков я любил его, хороший!

Но вот я гляжу в уже немного выцветшую, чуть золотистую, фотографию. Писчим почерком золотом вытиснена внизу подпись фотографа – и, если повернуть, будут оттиски золотых медалей, «поставщик двора Его Императорского Вели...». (Так на фотографиях конца XIX века.)

В очень длинном стоит молодая женщина, в муаровом платье, и бесконечно заботливы заглаженные мелкие складочки у оборчатого низа платья, затейливо обходящего подол узором рюшей. В сочетании черного и белизны предстает этот легкий стан, облик – женственнейший в трогательной красоте черт, чистых. Родниковое, ландышевое протекшей весны, счастливой; смотрит, не улыбается. Но, может быть, вот-вот улыбнется – так добры у края застенчивости большие, в вопросительной задушевности, светлые, под ресницами темными и бровями, глаза. Правилен нос, легко очерчены ноздри. Дыханьем неуволимо приоткрыт рот, одновременно легкий и пышный, – так с лепестками бывает. Лоб открыт, грациозно обведенный светлыми, подобранными вверх волосами, прической простой и изысканной.

– Моя мама! – говорит Котик тихо.

## Дни Котика Сараджева

Мы ехали на трамвае, где-то на Пятницкой или Ордынке, мимо старых особняков. Внезапно Котик рванулся вбок и, сияя, как от неожиданной радости, закричал так, что на нас обернулись:

– ...Смотрите! Типичный дом в стиле до 112 бемолей!

Он перевешивался через заднюю, наглухо закрытую загородку трамвайной площади, провожая взглядом родной его слуху дом. И когда тот исчез, он, потирая руки, смеялся, наслаждаясь ему одному понятной гармонией. На нас смотрели с недоумением. Сознаюсь, мне было неловко. Как-то надо было объяснить окружающим этот случай, который благодаря своей громкости делал их участниками, зрителями. И я не могла найти слова. Но и тени смущения не было заметно в Котике. Или он не замечал нацело людей? Нет, он не был оторван от среды. Отвлеченности в нем не чувствовалось ни капли. Он был вполне воплощен, умел и радоваться и сердиться. Мог и – как уже я говорила – насмешничать. Что же давало ему броню, мне не доступную? А он уже отвлекся в беседе.

– Я забыл вам рассказать, – говорил он, – что вчера меня проверяли! – Он закивал головой, торопясь, опережая себя. – То есть они хотели уз-знать, верно ли это, что я слышу все эти з-звуки! Он-ни м-мне сказали так: «Эт-то нужно для – для н-науки! И вот вы (то есть я) долж-ж-ж... – Он запнулся, завяз в жужжанье этого «ж» и, как жук, попавший в патоку, шевелит ногами – выбраться, так он боролся с неспособностью одолеть слово. Но ни тогда, ни позже я ни разу не заметила у него ни раздражения на мешавшее ему заиканье, ни нервозности, мною встреченной у других заик. Он скорее отдавался юмору этой схватки, иногда выходя из нее – смехом, и никогда не отступал, может быть наученный логопедом упорствовать в достижении нужного звука. Нет, упорство это жило в нем самом. Может быть, крылось в каком-то веселом единоборстве? Или в осознании юмора, что ему не дается звук – ему, сколькими звуками владеющему, ему, их богатством одаренному превыше возможностей окружающих! И ему не дается какой-то один звук?! Жук вылез из патоки! – Вы долж-жны нам помочь!» Их было несколько, а я – один. Двое были в белых халатах, эт-то б-была как-кая-то л-л-лаборатория. Я очень смеялся! Что же тут проверять, что я – слышу! П-по-моему, их интереснее проверять, почему они ничего не слышат! Один какой-то бемоль, один диез, только! И н-на эт-том они с-с-строят свою муз-зыку, тем-перированную!

– Котик, вы совершенно правы, конечно! – отвечала я. – Ну и как же они вас проверяли?

– По-моему, они эт-то и не меня проверяли, а эт-ти свои приборы? Потому что... – Он очень оживился, но, как всегда не успевая догнать свою мысль речью, он заспешил, мешая себе: – Он-ни п-привели м-меня в т-так-кую выс-сокую к-комнату, там было много стеклянных вещей, и м-ме-таллических тоже м-много, и посадили меня у т-такого стола, и что-то н-на м-меня н-наде-ли, потом снимали, п-потом оп-пять н-надевали. И по-том-м они оч-чень кричали, с-спорили. Я н-не знаю, про ч-что, я оч-чень смеялся. Я заб-был, что потом б-бы-ло, я эт-то уж-же рассказывал Юлии Алексеевне, а ее папа з-заинтересовался и меня все расспрашивал.

– Ну все-таки что же они, Котик, проверяли?

– Он-ни т-так сказали: что ск-олько эт-ти приб-боры м-могли за мною поспеть, з-за моим слухом – как-кие-то т-там «кол-лебания» (там еще что-то иг-грало, как-кая-то ч-чепуха...), он-ни зап-писали эт-то – все, что п-правильно слышу, и п-приборы с эт-тими «колебаниями» т-тоже! А пот-том это все ос-становилось – и я слышал, и он-ни уж-же не м-могли, пот-тому что он-ни – кончились! – Котик засмеялся с детской ликующей непосредственностью. – А я н-не к-кончился, и т-тогда все закончилось, п-потому что он-ни уже н-не могли пров-верять. Их «колебания» к-кончились, а м-мои – а м-мои ведь т-только начались!

Он больше уже не рассказывал, он смеялся, он так смеялся, что я, в испуге за его нервную систему, старалась прервать его, отвлечь, и это мне наконец удалось.

Мы шли проходными дворами: вел – он.

– А мы верно идем? – сказала я, будто бы озабоченно. – Мы не заблудились? Ведь Юлечка нас ждет! И мы не опоздаем в ту церковь, где сегодня вы обещали звонить?

Среди музыкантов Москвы все ширился разговор о звонаре Сараджеве. Заинтересованные и восхищенные его сочинениями на колоколах (а многие – и его игрой на рояле) говорили о том, что он еще молод, что еще можно ему учиться! Наличие его гиперстезированного слуха позволяет ему такие волшебные сочетания звуков! Этому нельзя дать заглухнуть, надо ему объяснить, что ему нужно учиться! Ну, пусть не в консерватории (он может без привычки к учебе уже не одолеть трудностей, сопутствующих предметам, – да!). Он же может учиться у какого-нибудь из выдающихся музыкантов – композиторов – композиторскому искусству! Пусть он частным образом учится, заиканье этому не мешает! Это же долг всей музыкальной общественности – заняться его судьбой, вмешаться наконец в его остановившееся на колокольной игре музыкальное развитие... В нем же гениальные способности!

На это отвечали: «Ну так как же проверить такой слух? Принимать просто на веру? Это, знаете ли...» «А его не так давно проверяли, – возражал кто – то, – именно проверяли тонкость его музыкального слуха. У него же бредовая теория есть, что в мире, то есть в октаве, – 1700 с чем-то звуков, и он их дифференцирует, вот в чем интерес!» – «Так это же опять с его слов, это же не доказано!» «Частично – доказано!» – отвечали иные. – Приборы частоты звуков, их, как бы сказать, расщепленности. Я, может быть, не совсем точно понял? Они шли в паре с его утверждениями – докуда эти приборы могли давать показания. И все совпадало. А дальше приборы перестали показывать, а он продолжал утверждать, и с такой вдохновенной точностью, которую нельзя сыграть. Да и зачем играть? В этом же ему нет ни малейшего смысла! Вы понимаете, он естествен, как естественно животное, как естествен в своей неестественности любой феномен! И думается, не столько здесь стоит вопрос о том, чтобы ему учиться, как о том, чтобы от него научиться чему-то, заглянуть, так сказать, за его плечо в то, что он видит (слышит то есть). Ведь это же чрезвычайно интересно с научной точки зрения...»

Так вспыхивали споры везде, где бывал Котик или где слышали его игру, дивясь ей, не имея возможности сравнивать ее с чем бы то ни было.

А Котик смеялся. Не зло, добро, его все эти рассуждения о нем забавляли. Чему они будут учить его – о звуках, которые для них не существуют, в существовании которых они сомневаются?

– М-мне, – говорил он, – надо пе-перестать слышать, и т-тогда я бы мог стать их учеником, пот-тому что они очень много уч-чили, а я – только в моем д-детстве, когда мне надо было выучить ноты, и все эти нотные линейки, и белые кружочки, и черные, и эти паузы и ключи, скрипичный и басовый. Чтобы записать м-мои детские сочинения! Но для колоколов все это не имеет значения, эти звуки нич-чему не помогают, и это все неверно, потому что я на этих линейках могу нарис-совать только один диэз и один бемоля, а бемолей 121, и диэзов т-тоже 121...

– Да, и это наша трагедия, что тут присутствует недогоняемость, – сказала я кому-то о Котике, – а вовсе не его трагедия, раз он слышит больше, чем мы!

– Нет, в этом тоже есть трагедия, – отвечали мне. – Слышанье немислимых обертонов, сверх-изученных, есть катастрофа. Но привести это звуковое цунами в состояние гармонии вряд ли возможно... Может быть, наука будущего...

Другой настаивал:

– Нет, он действительно мог бы создать неслыханные звучания, если бы он научился управлять ими по всем законам гармонии!



– Вот так логика! – отвечал кто-то. – Неслыханные звучания – мы же слышали их! И им не нужна наша гармония...

Не слушая, тот продолжал:

– Тогда бы он владел теми сферами звуков, которые ему слышатся! А пока – он только вырывается в непознаваемое и что-то оттуда нам сбрасывает. Какие-то...

– Жар-птичьи перья! – сказала я. – И перья павлина, которые мы слышим и восторгаемся ими.

Хоть и отрицаем, бредом считаем эти десятки бемолей и диезов, причину необыкновенных его композиций. Тут такой колдовской круг!

Но мне отвечали, что это все, что я сказал, – литературщина, дело вовсе не в этом, а в том, что для того, чтобы сочинять музыку, надо изучить контрапункт.

А Котик Сараджев уходил от нас по ночным улицам, окруженный домами в стиле несуществующих для нас десятков бемолей и диезов, и в тишине ночи ему издали шли звоны подмосковных колоколов, которые трогал ветер.

Вскоре Котик пришел ко мне. Он бережно нес завязанную тесемкой коробочку, кондитерскую.

– Я вам печенье принес! – сказал он празднично и поклонился не без гордости. Он аккуратно развязал тесемку и поставил на стол коробочку, раскрыл крышку и положил ее рядом. – Вы, пожалуйста, кушайте! – сказал он чинно. – Если его с чаем с молоком – оно очень питательно. И сыну его давайте!

Я благодарила, смущенно смеясь. Это было так неожиданно! Мы сидели за чаем, вечером, у моей старшей подруги, той самой, что работала концертмейстером. Котик уже играл нам на рояле свои ранние гармонизации, которым не придавал цены. Он равнодушно выслушал наши похвалы и на вопросы хозяйки дома, пианистки, ответил вразумительно и терпеливо! Но он казался усталым.

– Оп-ять б-был царем! Эт-тим с-самым, Федором Иоаннычем, что ли... Неин-тересно! И зач-чем им это пон-надобилось? Как-кой я ц-царь? Он-ни говорят мне: ты типаж (это что такое?). Да!

Великолепный, ты же р-родился б-быть Иоан-ны-чем этим, и наружность твоя, даже и грима не надо! Н-но ведь у них совсем никуда не годные колокола, я на них совсем не могу играть, три-четыре колокольчика – и все! Если б один большой был – хотя бы благовест можно, а то... А они говорят; нам трезвон надо! Мы, говорят, тоже попросим у Наркомпроса колокола, только играй! Вся Москва, говорят, на спектакль придет, понимаешь? Но я им сказал: нет, хватит! А колокола пусть мне даст на мою колокольную Наркомпрос! И я ушел.

Лицо его подернулось тенью – и он заговорил вдруг быстро-быстро, но не по-русски, а на языке вполне непонятном, раздражение слышалось в интонациях. Пораженно глядели мы друг на друга, ничего не понимая. «По-армянски, – мелькнуло в моем мозгу, – отец – армянин, и бабушка, может быть, в его детстве...»

Заливчатый детский хохот вывел нас из смятения. Это хохотал в восторге от неожиданности Туля. Он восхищенно уставился на чудного гостя, не слушая увещаний матери. Легким румянцем подернулось ее лицо, глаза, мягкие под тяжелыми веками, смотрели на Котика, силясь понять происшедшее. Но он, уже придя в себя, тоже смеялся, кивая ребенку, и, покраснев тоже, извинялся.

– П-п-простите! Я заб-былся, п-простите! Эт-то со мной б-бывает, я иногда волнуюсь, нач-чинаю гов-ворить слова – обратно, не как в книгах печатают, а наоборот... Эт-то все из-за эт-тих актеров, – сказал он с нескрываемым недовольством, – я в-вас п-перепугал, простите...

Но Туля не унимался.

– А как вы это делаете? Я тозе хоцю так! – кричал он в необычайном возбуждении. – Как? Как?

То, что не удалось матери, удалось бабушке: она успокоила мальчика, маленького своего внука, отвлекла, увела в соседнюю комнату, прикрыв дверь.

Конец вечера прошел мирно, обыкновенно. Котик держал себя как самый простой гость, если не считать того, что звал нас вместо имен и отчеств – нашими тональностями, но к этому мы уже привыкли.

## Автобиография

На другой день, к острому интересу моего сына Андрюши, большого мальчика, Котик сидел на диване обложенный со всех сторон фотографиями и, перебрасывая их, ничего не спрашивая, нисколько не интересуясь, кто это, называл тональность на них изображенных людей. «Что же это за слух? Что за мозг? – думала я, поражаясь все больше и больше. – И какая уверенность!»

Я следила за быстрыми его движениями, влево от него на диване уже лежала груда просмотренных фотографий. Сейчас он перекладывал картонные странички маленького выцветшего бархатного альбома, и каждый раз, как встречался – в любом возрасте – Андрюшин отец (ребенком ли, в гимназической форме, взрослым ли, где только с трудом можно было поверить, что это тот же человек), Котик называл его «Си 12 диезов». Как было любопытно, что младенческие любительские снимки сына Андрюши (о котором цвело убеждение, что он на меня похож) Котик неизменно именовал близкой отцу тональностью: «Си 21 бемоль»... И отец мой, Иван Владимирович, каждый раз оживал под пальцами Котика – стариком ли, студентом, пожилым, в разных костюмах, с лысиной, с русыми волосами, даже очки не всегда присутствовали на фотографиях, и это среди множества других лиц, – все в том же «До 121 диез»...

Но к концу вечера в Котике проглянула усталость. Он ушел, пожав нам руки, сказав, что пойдет спать, а завтра явится к нам в гости со своим новым детищем, первым из переданных ему Наркомпросом колоколов.

И каким веселым, ожившим он пришел к нам, легко, как игрушку, неся свой «соль-диезик»!

– Од-дин пуд и семь фунтов всего, – сказал он, ставя его на сиденье Андрюшиной парты, – я ув-верен, что в нем, в его сплаве, есть серебро! Да, да, иначе не было бы в нем так-кого звучания, вы только послушайте!

Он поискал, чем бы, – и, схватив Андрюшин напильник, с которым тот мастерил что-то, небольшим размахом отведя руку, ударил гостя-колокол.

– Слышите? – вскричал он в восхищенном волнении, отскочив в сторону, чтобы лучше слышать. На лице его было блаженство. Серые глаза моего сына были устремлены на Сараджева с неменьшим возбуждением, чем накануне глаза Тули. А по комнате неся, утихая, но еще вибрируя и становясь все нежней и неуловимей, легкий, радостный, о себе заявляющий звук серебра!..

– Котик, – сказала я, – можно вам задать вопрос о том, что, по-моему, даже важнее, чем рассказ о любимых колоколах ваших, – это так трудно определять, тут вас мало кто поймет, может быть, какие-нибудь мастера, которые знают тайны сплавов, пропорции, они – да. Но вот могли бы вы определить слух ваш? Знаю, сколько вы слышите в октаве звуков, и знаю, что это пытались проверить, и недостаточно удачно. Но, может быть, когда-нибудь в будущем, когда будут более совершенные приборы...

Он поднял на меня сверкающий взгляд. Темные его огромные глаза вдруг показались мне почти светлыми.

– Д-да, д-да, – с усилием крикнул он, – но н-не приб-боры!.. А л-люди будут совершеннее! Может быть, через сто лет, через тысячу у людей будет, у всех, абсолютный слух, а у м-многих такой, как мой, и эти люди услышат все то, что слышу теперь я – один...

– Это – о будущем, вера в него держит вас, как держит меня – в моем восприятии вас как новатора-музыканта. Но вот что мне хочется знать – о настоящем. Почему вы пристрастились именно к Мароновской церкви?

– Мароновские колокола меня поразили! Их подбор представляет собой законченную гармонию!

Все это Котик произнес, совсем не заикаясь. Я вспомнила, что об этом говорила мне Юлечка, – когда радуется чему-нибудь, заикается мало.

– Колокола с ярко выраженной индивидуальностью и в отдельности, и в массе (при трезвоне) вызывают у меня музыкальные мысли, образы, как и в детстве. Тогда я любил воплощать их игрой на рояле. Слушая эти импровизации, отец или бабушка (мама к тому времени уже скончалась) записывали их на ноты, и получалось, как они говорили, недурно. С четырнадцати лет начал я бывать на колокольнях во время звона. Впервые попал я во время звона на колокольню Ивана Великого. И странное дело: из всего огромного подбора его колоколов ни один не затронул меня так, как трогали колокола других колоколен. Звон Ивана Великого ничего, совершенно ничего не представляет собой, только темный, оглушительный, совсем бессмысленный гром, но колокола сами по себе там – превосходные; всего их 36, и в смысле их подбора дело обстоит великолепно... Находясь на колокольне Ивана Великого, я услышал однажды колокол, который потом постоянно звучал в моих ушах, но узнать, где он, с какой он колокольни звучит, мне долго не удавалось. Тогда же, то есть четырнадцати лет, я начал звонить сам; было это на даче, близ Москвы, по Павелецкой дороге, в 22 верстах от Растрругева. Дом, где я жил, находился на холме, и было очень хорошо слышно три разных колокола. Я пошел на их звук. Всю дорогу был слышен Большой колокол. Придя наконец к самой колокольне, я влез наверх и попросил у звонаря дать мне продолжить звон. Тот дал. Звонил я минут пять, а затем звонарь начал звонить в остальные колокола. Тут же пришел другой человек; он, по-видимому, был удивлен, почему я пришел, недолго поглядел на меня, как я звоню, видит – ничего, и сошел вниз. Все колокола, как я нашел, очень хорошие, но здешний звонарь звонить не умел! Чтобы не слышать его, я спрятался под «свой» Большой колокол и вот там испытал громадное наслаждение! Он имел прекрасную индивидуальность...

Я взглянула на часы... Мне надо было идти на занятия английским, но я не могла прервать Котика: он просто сиял, рассказывая.

– С пятнадцати лет я перешел к трезвону, то есть к звону во все колокола. Вот тут, находясь в самой середине колоколов, в центре всего звона, я чисто интуитивно распоряжался индивидуальностью каждого колокола во время всего звона. Не могу никакими выразить словами, какое наслаждение я при этом испытывал! Я не говорю о красоте многочисленных ритмических фигур, узоров, которые я сам, создавая, выполнял и которые бесконечно увеличивали мой музыкальный восторг...

Я больше не могла, я должна была идти! Я встала.

– Впервые я стал трезвонить на колокольне церкви Благовещенья на Бережках, – продолжал Котик, покорно встав тоже, – и сразу же стал бранить себя за то, что так долго лишал себя неиспытанного наслаждения, каким явился для меня трезвон... Мы ид-дем? – сказал он, сразу вновь заикаясь. – Д-да, и мне н-надо идти...

Расставаясь со мной, Котик Сараджев чинно кланялся, как пай-мальчик.

– А... еще есть у вас печенье? – спросил он вдруг меня хозяйственно и немного стесняясь. – Или уже всё съели?

– Есть еще, есть, Котик!! – смеялась я в умилении, ошеломленная неожиданностью вопроса, до дна озадаченная невинной житейской простотой этого непонятного человека.

## Горький. Италия

В почти родной квартире у Пречистенских ворот – так связана она с нашим с Мариной детством – мы снова собрались у Яковлевых.

Я говорила о моем письме, отосланном Горькому, о восхищении его книгами, к сожалению поздно пришедшими в мою жизнь. Мой взгляд замер на висевшем над нами портрете широкоплечего мужчины в расцвете сил (прежде я не замечала его). Темные волосы рассыпной волной поднимаются надо лбом, высоким и чистым, спускаясь затем темным ободком к бороде. Мужественный взгляд глаз, умных и несколько повелительных. Печать воли и мысли лежит на всем существе. «Иван Яковлев! – поняла я. – Так вот он какой был...»

– ...«Воспоминания» Горького, – рассказывала я, – в одном томе, тоненьком – знаете, темно-синий, с белым корешком? Совершенно удивительная книга! Он пишет о всех странных людях, которых встречал на своем пути, – такое разнообразие! И каждый из них до того живой, осязаемый, колдовство какое-то! Бугров, хозяин булочной, обожавший свиней. Сумасшедший монархист – учитель чистописания, потом этот сложный Савва Морозов – такая необычная коллекция!..

И вдруг я остановилась: на меня глядел Котик Сараджев, и взгляд его был – удивительным: он будто – из темы – отсутствовал. Было вполне очевидно, что Горький его не занимает нисколько. Но что-то в моем тоне привлекло его чрезвычайно; он весь впился глазами в меня. Я же, этим взглядом встревоженная (может быть, какое-нибудь изменение во мне – тональность?..), была вышиблена из своего рассказа. Видимо, почувствовав мое состояние, он очнулся:

– Эт-то оч-чень интересно, как вы разговаривали сейчас, – сказал он по-детски непосредственно. – Я думал, вы сейчас о чем-то скажете, может быть, о колоколах? Я думал: может быть, этот самый Горький написал что-нибудь о колокольном звоне? У вас было такое лицо! Я слышал, в старину были звонари, н-настоящие! Я думаю даже, что у них был слух такой. Вроде моего слуха!..

Я, в свою очередь, не сводила глаз с Котика – до того он был в эту минуту прекрасен! Он показался вдруг старше. («Такой он будет лет через десять», – мелькнуло во мне.) Но было неудобно дальше глядеть так на человека. Я обернулась к Юлечке. Ее умный, взыскательный взгляд был также обращен на гостя.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.